



СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ



УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестящие жиры и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу...

Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они

по залам в одеждах бледных — с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит — я чувю это щемящей болью, — что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни. Уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огорожке помидоры — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела — только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выскивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье — милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кру-

чам: заготавливать к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло — можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запахает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в зашуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-

груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, пованешали на себя тяжелые бусы-грушки — «мари-луиз».

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кафель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» — светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кафель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все — в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кафелем, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст

радостного забвения. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побиты его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливают, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. Давно обобрали ее воры, побиты стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды воночие уккусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна, — и ее захватил павлин.

ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь — ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Так и павлин — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы — соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:

— Не дашь?..

— Не дам. Видишь — ничего нету, Павка.

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распу-
стит:

— Не дашь?!..

Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертит-
ся-потанцует:

— Смотри-ка, какой красивый! Не дашь... И слетит на
пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там
и там покричит-позовет по балкам — пава, может, отклик-
нется! Глядишь — уж опять бродит у своей одинокой дач-
ки. А то пройдет за горку, в Тихую Пристань, к При-
быткам: там дети — чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже
плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки
в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому
доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни
проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

— ...Э-оу-ааа!.. — пустынным криком кричит павлин.

Жалуется? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день — в работе.
Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розо-
вой опушке, выправил горделиво головку — черноглазой
царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает,
что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты
ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво хо-
дит он по балкону, шелковым хвостом возит — пригляды-
вается к утру... И — молнией падает в виноградник.

— Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в ло-
зах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много ис-
клеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно
все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с цар-
ственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хле-
ба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его
камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юрка-
ет-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и про-
падает за своей виллой. Кричит пустынно:

— ...Э-оу-ааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине — все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклевывает дикий чеснок, лук гадючий, — от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит — пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклонуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни!? Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малютки. Ну, веди их туда... индюшка!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, за-

ведет в самую середину — и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня доволно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но — вымахнет хвостом из пшеницы и попадетя грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

— Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

— Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу — в такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

— А ты их сеиль?!.. Последни зерно из глоти вирьвал! Тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам — вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли — и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей — они хоронились от людей где-то — голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось — и котловина затихла.

ПУСТЫНЯ

А что Тамарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громяхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

— Ку-ддаа?!..

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

— На-ззад!!..

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это!? Это убивает мысли.

Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький, скромный, тихий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины — надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.

Бурей задрало железо — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй,

не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, — выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу — беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешинной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — «Свете тихий»... Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе — и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благодатная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

— Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце...

Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмеля,

.....
ля, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку — улыбку камня...

Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

— Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри — и так, и этак.

Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев — всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшиеся татары:

— Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрелят, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо — Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, — земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения... Одна голубая парча — на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито — все. Иссякло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится — засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она — синь-бель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах — груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок — утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ», ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих — «мерсис»! И уральские камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» — китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей «диагонали», с нафабранными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеклом за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями и шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра — звоном бахчисарайским, — щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вилл в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящейся

поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожилых, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле — у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях — к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? Кому купаться?.. Все — иссякло. В землю ушло — или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на побережной дороге — ковыляет босая, замызанная баба с драной травяной сумкой, — пустая бутылка да три картошки, — с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

— А сказывали — все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин, — гонит с вьючком дровишек, — угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

— Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины — без причала, в ушастом шлыке суконном, в памятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха — пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами — вино ли, кровь ли... И этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой,

глядит-пялит заспанными глазами... — чего такое?.. Присметит — стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

— А-а, едренать...

Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает мордочку и мычит, протяжно — на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли — от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера — все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать — и суп будет. Хорошо чесноку добавить — дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо — обманывать единственное живое, что нам осталось, — птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, — не зерно ли?! — разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

В ВИНОГРАДНОЙ БАЛКЕ

Виноградная балка... Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы — золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно — море. И — виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут — яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая олен-

ка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих — они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только — лозы... рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, — прыгают там голубые сойки. Какое покойное крыто! Откосы, один — тенистый, солнцем еще не взятый; другой — золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад — синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве — синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

— Э-оу-а-ааа...

Нельзя не думать: настезь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах — кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

— Хле-а-ба-ааа... са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу... са-а-мый-са-ааа...

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

— Ах, Воводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке — бьются.

— Са-а-мый-с-а-аааа...

— Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

— Хочу са-а-ла-аааа...

— Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

— А-а... сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: наса-лить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке, и — о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она.. в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у ней какой-то коврик... Каждую ночь дрожит — вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чутье какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, — у Мопассана было... — и высится гордым стальным торчком прозрач-

.....

ная башня Эйфеля?! .. гремит и сейчас: в огнях?! и люди весело и свободно ходят по улицам?!.. Париж... — а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... — а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города — великих! Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных — в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человеческих — пирам веселье, человечесьи кости — игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи — работы северных мастеров, «русский» волос — на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святых угодников — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечесьей крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там — с ...«правами человека»? В Великих Книгах — все ли страницы целы?..

О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны — нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его — нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

— Хле-э-ба-аааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!

— Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходит. Вон — Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это — солнце обманывает, блеском, — еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянет ливни — тогда...

А теперь... — яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится «чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый... как смородина черная — «мускат» черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин — день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... — как это давно было! — у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшего в про-

рыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.

Хлеб насущный!

— С добрым утром!

А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом — восьмилетка, косит глазом. На ней — единственная ее — белая кофточка и красная юбка, с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют — русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули — и поймали:

— Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера целых три прикатило! Это зеленых ловят...

— Все-то знаешь! А кто такие эти — зеленые?

— А которые не сдаются... в лесах по горам хоронятся... я знаю.

Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно: катит автомобиль невидный.

Перескочили на виноградник:

— Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял... А у вас сегодня Тамарка миндаль жевала!..

— Значит, миндальное молоко будет.

Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются — выскивают дали. И глаза светло-синие, как дали.

— У Минца... корову вчера угнали... — говорит Ляля робко.

— Слышал. А Безрукий рыженькую собачку съел?

— Какая к вам-то все прибежала, хвостик букетиком. Поляк... что ему! Они все есть могут. Он и кошку у него заманил! Ей-богу! — спешит сообщить Ляля. — У него клетка есть, с такой гирькой... на ночь привесит конятинки —

хлоп! Слесарь... Мне, говорит, теперь наплевать на голод, кошками премудрую. А что, вкусные кошки?

— Ничего будто. А ты как... ела сегодня?

— Ели... — нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.

— Та-ак... Значит, ели... Верно?

— Вот придет няня... — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. — Давайте я понесу... Листу-то сколько-а!

Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.

— А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят что опять...

Она говорит, как взрослая — всегда серьезна. Пытливая у ней голова: все знает, что делается в округе, в городке, у моря.

— Еще что скажешь?

Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист.

— Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила!.. — косит Ляля на меня взглядом, — не поговорю ли с ней об индюшке, — но я молчу. Поинтересней надо? — А у Вербы-то какое горе!

— А что такое?

Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:

— А как же... этой ночью у них гуся украли!

— Да ну-у?

— Украли, как же... и голоску не подал. Да гляньте воньте... только один гусь гуляет!..

От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит.

— Ох, некому больше, как дядя Андрей... — шепотком говорит она и глядит через балку: за пустырем павлиньим — не видная за горбом Тихая Пристань. — Уж такой-то вредный мужик! Некому, как ему. Слышим ночью — уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть. А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то по ночам, от Бабугана... Так-то шкварочками... да сальцем... ужас!

Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь:

— А что такое случилось... учительница вчера Вербенка отчитывала? Не слыжала?

— Да как же! — оживляется Ляля и опять подбирает руки. — Идет Прибытка, учительница... из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит, в пинсиях... Собаки, — сперва думала... А как пила хрипит! Подошла поближе, глядит... а это Вербенята — озорники хо-о-о-ро-шую грушу пилят! Садовую грушу. Бэру... вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй... «Вы что тут делаете?! Разве можно пилить садовое дерево?!» — как заругалась! Они — ти-кать! Ведь не можно садовое дерево? Сколько уходу было... А стра-ху нет. Уж она их начитывала!..

— Вот что, газетка... Вот тебе маленькая лепешка... поделишься с Володей.

Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге:

— Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачем же... не надо. У нас же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

— Ну, зачем это... — у самих мало... Ну, спасибочко вам... Ба-льшое спасибо! ба-а-льшое... — смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис.

Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, — и вдруг, помчится-помчится! Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку — и слышится придушенный голос: «Володя! Володичка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний белоголовый Володя — благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже... Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой, пестро заплата-ной рубашке, в штанишках — наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих, белых, — кричит звонко-звонко:

— Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!

Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, нетвердо глядят в глаза. Начинают рычать иные.

Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... — пусть до завтра! — это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать!

Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, — хитрый запор голодного времени! — и с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица.

Живы, мои родные! С новым утром!

Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна! Зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве: поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка — бутылочка на ножках:

— ...Пуль-фье... пуль-фье...

Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь, пленкой затягиваешь глазки... И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха, упомяла оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо... А ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна... Там когда-то и часы лежали... Вот, есть у меня для тебя немного... Ну? Раз, два... десять... двенадцать зерен! Чего же не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут «дяди», которые любят кушать... и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами, отбирать «излишки»! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуйста, и отберут у меня «излишки»... Ну, не будем думать.

Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают мохрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сон кошмарный? В плен к дикарям попался?.. *Они все могут! Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут!* Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили! Не могу осмыслить (или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?!). А для чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот — на одной чашке с ними...

Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, — только она так может:

— Ай-йу-а-ай!..

Дикий, пустынный крик — похожий на крик павлина.

А, налетает ястреб! К осени ястреба лютуют.

Ее крик слышен на версты — и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, — боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все птицы... Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно — и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке Вербенята, визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.

Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отликает на его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за балку, притаивается в чаще.

Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как загибаются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы — стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, как люди людей боятся, — людей ли? — как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы.

Ястребам простится: это *их* хлеб насущный.